

В.В. Розанов
Идея рационального естествознания

По изданию: Собрание сочинений. Эстетическое понимание истории. Том 28. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» № 8, 1892 г. в качестве рецензии на книгу Н.Н. Страхова «Мир как целое: Черты из науки о природе». Перепечатано в книге Розанова «Литературные изгнанники», С.-Петербург, 1913 г.

Н. Страхов. Мир как целое. Черты из науки о природе. Издание второе. СПб., 1892.

Лучшая философия, без сомнения, та, которая возникает из изучения природы и *после* этого изучения; название, данное когда-то собранию трактатов Аристотеля их неизвестным хранителем — *μετά τά φυσικά*, "то, что следует после физики", потому и обратилось из случайного в постоянное, что в нем непреднамеренно был указан истинный смысл философии, ее отношение к реальным наукам и самый предмет, с ними одинаковый — природа. И с тех пор и до нашего времени всякая философия, заслуживающая этого названия, есть непременно метафизика; как и всякая метафизика, носящая это имя не по одному недоразумению, есть только углубленное познание природы, есть ряд идей о действительном, невольно пробуждающихся в уме человека после того, как его чувства, его способности, ощущения уже вполне насыщены впечатлениями этой действительности.

В сущности, каждое ощущение само по себе — беспросветно темно для человека, непроницаемо в своем смысле, пока оно не возведено к смыслу чего-то, что уже ранее присутствовало в его душе, образует как бы элемент этой души и в самом себе совершенно ясно и понятно. Уподоблять природу себе, переводить ее темные знаки, ее неясные стимулы на ясный, отчетливый язык своего разумного существа — в этом со-

стоит сущность всякого изучения, неуничтожимый источник наших размышлений после того, как мы видели, осязали, слушали, ничего еще не понимая в момент этого видения, осязания, слушания. *Понятность оощуцаемого* — вот вечная цель и философии, и науки, за которой для них нет движения, но достигнуть границ которой слишком достаточно, чтобы наполнить содержанием жизнь неопределенной вереницы человеческих поколений.

И в самом деле, что все оощуцаемое может быть понято, т.е. все, идущее извне в человека, найти в нем уже отзвук себе, но осмысленный, но проясненный, — уверенность в этом есть *pius* всякой философии, без которой человек никогда не начал бы размышлять, т.е. изыскивать, трудиться, напрягать свой разум, — конечно, не без надежды, что это к чему-нибудь приведет.

Таким образом, ранее всякого философского размышления в человеке есть уже главная для него основа — уверенность, что он сам, со своею разумной душой, есть как бы самая зрелая действительность по отношению ко всякой другой, которая, может встретиться для его оощущения и которая после внимательного в нее всматривания, всегда окажется только менее зрелую, но однородною с тем, что уже в нем самом есть.

Отсюда вытекает потребность человека понимать явления и предметы внешней природы как только повторения, и притом вещественные, процессов и состояний своего первичного сознания: ряд фактов, следующих друг за другом, он понимает, как ряд фактов, *причинно* вытекающих один из другого; сомкнутые тела, лежащие перед ним, он понимает как *части*, образующие одно *целое*; в бесконечном *разнообразии* вещей ищет и находит связующее их *единство*. Ни о чем этом не говорит ему сама природа, но все это он находит в ней, и даже только это находит, потому что лишь под этим общим он может понимать природу, эти мириады частных, которые действуют на его оощущения. Сведение темного воздействия на себя к одному из этих общих понятий и, наконец, сведение всех воздействий в гармоническую связку их — вот неуничтожимая потребность человека, вызывающая его на размышления, на изыскания и породившая философию.

Каждая реальная наука может быть рассматриваема как подведение природы под которое-нибудь одно из этих общих понятий; или, иначе, как рассмотрение, *где и как* в природе осуществлено это понятие. Так, физика есть изучение всех явлений, связанных между собою механическим сцеплением; иначе — рассмотрение природы, насколько и как в ней осуществлена идея *причинности*; классификация (например, органического мира) есть рассматривание той же природы под понятия-

ем *сходного и различного, единого и многого*, и т.д. Философия же, несправедливо называемая "матерью всех наук", есть, во-первых, рассмотрение этих самых понятий, каковы они и откуда в человеке, и, во-вторых, сведение их в одно, т.е. синтез целой природы в сознании человека, как едином связующем своем центре.

I

В легкой форме прихотливых очерков г. Страхов разбрасывает перед глазами читателя факты органической и мертвой природы, всюду обращая мысль его к этим общим понятиям, в которых содержится разъяснение смысла неопределенного множества как приведенных, так и других подобных же фактов. Мысль читателя, нигде не утомляясь, остается постоянно возбужденною разнообразием предметов, перед ним проходящих, и, главное, особою точкой зрения, с которой они ему показываются. Автор всегда почти говорит о самом обыкновенном, каждому знакомом из собственного опыта или из книг; но в этом обыкновенном он неизменно указывает что-нибудь особенное, что ранее вовсе не приходило в голову читающего, и о чем не натвердили ему во множестве прочитанных журнальных статьи о тех же предметах. Таков общий характер книги, заглавие которой мы привели выше, одновременно и самой популярной по философии в нашей литературе, и одной из самых глубоких и содержательных в ней¹.

Говорить о всем содержании этой книги — значило бы останавливаться на всех бесчисленных вопросах, возникающих при рассмотрении природы органической и мертвой. Мы укажем только на общее направление ее, на те главные линии, по которым движется мысль автора, прихотливо перебегая от одной частности к другой, и, по-видимому, более всего занятая интересом этих частных.

С точки зрения на науку как на некоторое построение наших сведений о природе, обычно принято начинать исследование с наиболее простых, элементарных существ, чтобы потом, мало-помалу, прилагая одну черту к другой, перейти от них к самым сложным. Но наиболее простые существа, столь легкие для описания, могут быть вместе и наименее понятными для человека. С точки зрения *понятности*, т.е. с философской, гораздо правильнее поэтому начинать обсуждение природы

¹ В западной литературе есть одна только нам известная книга, которую по замыслу своему, по разнообразию, легкости и содержательности напоминает книга г. Страхова, во всем остальном ей, однако, противоположная. Это — "Разговоры о множестве миров" Фонтеллы.

не с самого элементарного, но с самого понятного, непосредственно известного уже для нас, хотя бы оно и было одновременно самым сложным. Так именно поступает наш автор, и, прежде всего, рассматривает, в ряде рассуждений самого человека. Этим рассмотрением он вводит читателя в круг идей об органическом и безжизненном, о вещественном и духовном.

Организмы суть существа *развивающиеся*, в противоположность безжизненным телам, которые все *делаются*, образуются силами и влияниями, для них внешними; таким образом, средоточие, образующая причина, главное — для организмов заключено *внутри* их, для мертвых тел — *вне*. Далее, совокупность перемен, испытываемых каким-нибудь телом, неопределенно продолжительна, как и самое его существование; как бы много их ни было, они никогда не сложатся в процесс, как необходимое и последовательное видоизменение тела, через которое оно становится лучше; напротив, развитие, через которое проходит всякий организм, представляет собою тесный круг видоизменений развивающегося, из каждой стадии которого оно выходит более и более совершенным. Организм есть *самоулучшающееся* существо — вот его самое важное отличие от всякого мертвого предмета природы. Возможность применить к нему понятия "хорошее" и "дурное", и притом хорошее или дурное для самого организма — это обнаруживает в нем присутствие совершенно нового чего-то, вовсе неизвестного в безжизненной природе. Отсюда — явления в них *болезни, уродства*, отсюда — понятие *выздоровления*, как возвращения к лучшей норме, как восстановления своей *целости и полноты*. Только в организмах мы наблюдаем это удивительное явление, что, потеряв какую-нибудь часть, они из крови своей, из бесформенного материала своего тела восстанавливают в прежнем виде эту утраченную часть: как будто внутри их, за покровом видимых вещественных очертаний, есть у них невидимые и строгие очертания, по которым течет материя их тела, только облегая их собою, видимо, овеществляя их в процессах восстановления, подобно тому, как кусок тела, которым геометр чертит сложную фигуру, только обнаруживает идею этой фигуры, бывшую ранее в уме его.

Если каждый организм в определенный момент своего существования есть синтез таких необходимых, овеществленных очертаний, то, в свою очередь, этот синтез подлежит столь же определенным и строгим передвижениям во времени, т.е. видоизменениям; возрастание, зрелость и смерть суть только самые важные моменты этого передвижения. Таким образом, двоякое и одинаково строгое ограничение лежит на всяком организме: *он ограничен, определен в пространстве* — без какой-либо способности переступить через это ограничение, лишь с сла-

бою возможностью от него отступить — заболеть или стать уродливым; и он *ограничен, определен во времени*, между моментами зачатия и естественной смерти — также без всякой возможности через них переступить, и лишь с возможностью отступить несколько от второй — умереть случайно ранее времени от какой-нибудь побочной причины. Таким образом, из всех существ природы организмы суть *наиболее ограниченные*, тесно определенные; и в связи с этим — *наиболее совершенные в ней*.

Рядом остроумных рассуждений г. Страхов показывает, что по строению своего тела человек есть механический предел для органической природы, всякое видоизменение которого в одной какой-либо части неизбежно повлекло бы за собою ухудшение в нескольких других: легкость, красота, подвижность, сила — все это соединено в нем таким образом, что малейшее усиление которого-нибудь из этих качеств тотчас вызвало бы ослабление всех остальных. Таким образом, человек есть наиболее совершенный из организмов, и всякие предположения о том, что возможны в природе еще другие, более совершенные, нежели он, одушевленные существа — не имеют для себя никакого правдоподобия, как не имеет правдоподобия разрешение задачи о квадратуре круга здесь, на земле, в будущем и равно теперь во всей вселенной.

Обращаясь от этой внешней предельности человека к внутреннему смыслу, который скрыт за ней, г. Страхов останавливается на совершенно особенном и удивительном его отношении к мирозданию. Внешние влияния, действуя на безжизненные тела, в сущности, разрушают их или вообще нарушают их целостность, единство с собою; удар, раздробляющий камень, правда, образует множество новых камней, но прежнего камня уже нет; кислота, которою мы обдаем тот же камень, превращает его в ряд газов и земель, не имеющих с прежним его существом ничего общего по виду и внутренней структуре. И какие бы другие действия природы мы ни избрали, мы увидим, что все они или совершенно не влияют на безжизненные тела природы, или влияют так же, как только что указанные, т.е. разрушают их. Если от них мы перейдем к растениям и животным, то увидим, что многие из влияний природы на них уже действуют, не разрушая, но *поддерживая, продолжая* их существование, однако же несколько его *не трансформируя*. Пища или воздух, вбираемые растением или животным, ничего, в сущности, к ним не прибавляют нового; они заменяют, становясь свежеею живою тканью, прежнюю уже обветшалую ткань, и через это поддерживают строй и силы организма в прежнем виде. Как в первом случае по отношению к минералам, так и во втором по отношению к органи-

ческому миру до человека, мы во всяком единичном существе находим только некоторую реальность, которая может или остаться такою же, какой была ранее, или разрушиться.

В противоположность всему этому, всей природе до себя, в человеке реальное (организм) есть только необходимая, тесная основа для обнаружения бесчисленных явлений и свойств, которые могут совсем быть не проявлены (и не проявляются в бесчисленных индивидуумах), но по которым единственно мы и узнаем, и оцениваем истинную природу человека, его внутреннее и глубочайшее существо. *Человечность* — это понятие так далеко отходит от "натурального" состояния людей, что в нем мы не замечаем для нее еще никаких почти задатков, видим именно только физическую основу, на которой может возрасти это идеальное явление. И оно возрастает по мере того, как шире и шире, дальше и дальше человек начинает соприкасаться с природой. Прошедшее интересуется его, будущее манит его к себе, далекие звезды, глубокие пласты земли — все кажется ему бедным и скучным, через все это, в глубоком самонедовольстве, он снова и снова пытается переступить, если не мыслью, то воображением. Никогда, ни на какой степени знания он не хочет поверить, что уже "все узнал"; напротив, чем более он узнает — так пробуждается от этого познания что-то особенное в нем и глубокое — внедряется в нем убеждение, что он еще "ничего не знает". Так, по мере того как прежде возможное становится в нем действительным, темные предчувствия заменяются ярким сознанием, — на месте проявленного, и еще в большем обилии, пробуждаются новые темные влечения, необъятные возможности чего-то еще иного. И чем далее идет проявление этой скрытой действительности, видя все новые и новые явления, недавние явления на древней основе, мы говорим, думая именно об этой основе: "Вот что содержалось в ней, каков человек, вот к чему он способен". В противоположность всегдашним приемам своим в обобщении, мы не постоянное, не повсюдное в человеке считаем главным в нем, выражающим его природу, не эту жалкую его "двуногость и бескрылость"; но таким считаем именно особенное, иногда на миг проявляющееся в нем, и всегда непременно *личное* (одному лицу принадлежащее). То, что совершил Ньютон, что почувствовал Рафаэль, что выразил Бетховен — это для определения человека, для понятия о его сущности важнее, чем черный цвет кожи десятков миллионов людей; это для самих негров существеннее, их самих выражает более, нежели то, что они все рождаются черными.

Таким образом, на самых далеких концах своих, светом мерцающих звезд, движением невидимых существ на узком поле микроскопа, глухими преданиями о давно исчезнувших народах — природа действует

на человека, *возбуждая, обнаруживая* его скрытую сущность, но не подавляя, не затирая ее не низводя ее до уровня своей мертвенности, своего механизма, своей слепой и грубой вещественности, но возводя к высшей идеализации. И между тем только "подобным воспринимается подобное", и что не имеет никакого соотношения с первозданной природой человека, конечно, никогда не могло бы и быть воспринято им, — как ухо до конца не воспринимает света, или глаз — звука. И таким образом, если вся природа действует на человека, если она вся только проявляет, выводит на свет его сущность, — не ясно ли, что уже от начала со всею ею соотносится, темно взаимодействует она сама; что в этом темном взаимодействии, от начала предустановленном и в истории только обнаруживаемом, и кроется сущность души человеческой, ее особенность, ее единство в мире, наконец, ее великий и святой смысл. Для сферы нет многих центров, для мира в красоте его, в его смысле нужно было только одно средоточие, где бы он мог отразиться, быть воспринят весь, — как гармония звуков, воспроизводимая одиноким композитором, как бы далеко они ни разлетались, воспринимается только его ухом.

Несомненно, что с этою многосторонностью человека, его всемирной связностью, неотделимо соединена и его физическая хрупкость: из всех организованных существ он наиболее болит, наименее способен выносить резкие перемены в окружающей действительности. Это от того, что из всех живых существ он совмещает в себе наибольшее число пределов, что с разных сторон и полно, как ни одно из них, он определен, и притом ненарушимо. Множество физических влияний, которые даже не затрагивают собою другие существа, потому что вовсе с ними не соотносятся, колеблются и разрушают жизнь человека, потому что не только соотносятся с ним, но с приближением к нему входят в круг множества других соотношений, из которых ни одно не должно быть нарушено. Из всего в природе он выражен в наибольшем числе определений, поэтому существование его наиболее в ней стеснено, сужено и наибольшим же числом причин нарушимо; хотя от того же он и наиболее совершенен, а следовательно, предусмотрением своим властен над самыми причинами.

II

Среди аналитических рассуждений, проводящих границу между мертвым и органическим, между органическим только и одухотворенным, г. Страхов бросает освещающие мысли в обе стороны — в мир нравственных движений человека и в наиболее темный для разумения мир

безжизненного вещества. Этому последнему посвящена вся вторая половина его книги, где рассматриваются древний атомизм и новейшее учение об элементах в химии, теория физических сил и закон сохранения энергии¹. Среди многого интересного, что здесь высказано им, отметим указания на коренную причину образования материализма.

Эта причина, — говорит наш автор, — кроется в преобладающей способности большинства человеческих умов к представлениям только, а не к понятиям, в силу чего механизм в отношениях всех предметов, распадение всех предметов на вечные, неизменяемые атомы — есть единственная форма, под которою непреодолимо является их созерцанию целая природа. "Что непредставимо, то не существует" — это есть первая аксиома, из-под видимой очевидности которой не могут выбиться материалисты, разлагающие лишь на представимое, поэтому всякий акт в природе, всякую деятельность в ней, ее жизнь, ее неуловимые внутренние отношения. "Вещество", "атом", "бытие", но непременно неподвижное и ограниченное, что можно было бы выделить перед собою, поставить перед своим умом и столь же отделимое от всего и доступное воображению "движение" — вот два основных начала, с помощью которых материализм и объясняет невольно природу². Между тем область действительного обширнее сферы представимого и даже, прибавим, она шире сферы только мыслимого. Никак нельзя *представить* себе радость, т.е. как чисто душевный акт, не как лицо только или движение радующегося человека; и то же должны мы сказать о всяком подобном душевном состоянии; и между тем оно *действует*, является источником поступков, родником поэтического или художественного вдохновения, к которому, применив термин "механически действующей причины", мы грубо ошиблись бы. Вообще как представимо только количественное, *имеющее какую-нибудь меру*, так и мыслимо только определяемое *в самой своей сущности*, а между тем природа полна и качественного, и среди последнего есть многое такое, что определимо лишь косвенно: через указание вытекающих из него последствий или порождающих причин, или каких-нибудь неизменно сопутствующих обстоятельств, но отнюдь не в природе своей. Так и чувство радости, конечно, может быть определено как "душевное состояние, которое человек ищет, и, достигнув которого, стремится его продолжить", или

¹ Глава о законе сохранения энергии, весьма любопытная по истолкованию его смысла и исторического происхождения, появилась первоначально в шестой книге "Вопросов Философии и Психологии" за 1891 г. и составляет ценное прибавление ко второму изданию книги "Мир как целое".

² Уже Декарт пытался свести всю природу к протяженности, и в ней — к фигурам, их положению и численным отношениям.

еще как-нибудь иначе, но ясно, что во всяком подобном определении сущность этого акта вовсе не будет выражена, хотя бы он и был в нем *отличен* от всего другого, указан. Материализм, оперирующий только с представимых, достаточен и совершенен *как метод объяснения* некоторой части природы, именно всей той, которая видима, осязательна, которая всюду и постоянно перед глазами всех. Но когда из частного метода он пытается стать философией всей природы, он впадает в такую же ошибку, в какую впал бы математик, задумавший отвергнуть алгебру на том основании, что мнимые величины, отрицательные и дробные показатели не покрывают собою ничего реального, совершенно непредставимы и лишь условно мыслимы.

III

Сверх множества подобных методических разъяснений, невольно воспитывающих мысль читателя к осторожности в заключениях, в книге г. Страхова есть и положительные теории, которые приближают познание природы к тому идеалу совершенной понятности, о каком мы упомянули выше как о конечной задаче философии. На двух подобных теориях мы хотели бы остановить внимание читателя, тем более, что предмет их до такой степени темен, что с первого взгляда кажется, что для него не может быть никакого объяснения, и он должен быть принят как только *факт*.

Кто не удивлялся формам кристаллов, которые принимают минеральные вещества всякий раз, когда им дается полная свобода сложиться без влияния каких-либо побочных, препятствующих обстоятельств. В массе воды мутный раствор, отлагаясь частица за частицею, не водимый ничьей рукой, не управляемый линейкой и циркулем, слагается в правильные геометрические формы, какие мог бы вывести только самый искусный чертежник. Чрезвычайно разнообразны бывают эти формы, и особый отдел минералогии, кристаллография, тщательно описывает их, классифицирует и располагает в системы. Но есть одно общее во всех этих формах, это то, что они все образованы из системы *плоскостей* и *углов*, и притом симметрически расположенных¹. Правильность, т.е. прямолинейность всех этих плоскостей и углов, превосходит всякое искусство человека и также все приближения к ней в остальной

¹ В "Лекциях по минералогии" академика Кокшарова упоминается, впрочем, не только об одной кристаллической форме какого-то интересного минерала, ограниченной кривыми поверхностями. "Их кривизна" — замечает он, — "столь правильна, что рождается невольно мысль о ее вычислении".

природе: она, безусловно, строга, это плоскости и углы чисто геометрические.

Явление столь постоянное в наружном виде минералов не могло быть вне связи с чем-либо постоянным же и всеобщим в самом их существовании, в их содержании. И вот каким образом наш автор из необходимости этой связи исходит к объяснению интересующего явления:

"Легко заметить, прежде всего, что плоскость есть *простейшая*¹ из всех поверхностей, какие возможны. Но в чем состоит ее простота, и какое значение она имеет для самого минерала?"

"Во-первых, части плоскости ничем не отличаются между собою; это показывает, что части кристалла, которые ими ограничиваются, точно также ничем не различаются, — что они совершенно однородны на всем протяжении плоскости. Совершенно подобным образом капля воды представляет однородную шарообразную поверхность; и хотя бы капля состояла из различных веществ (земля и все небесные тела тоже суть почти совершенные капли), для того, чтобы она была вполне шарообразна, необходимо, чтобы ее части, прилегающие к поверхности, были действительно вполне однородны".

"Но плоскость имеет наибольшую простоту еще в другом отношении. Обе стороны плоскости — одинаковы. У шарообразной поверхности одна сторона выпуклая, другая вогнутая; *у плоскости, и только у одной плоскости, обе стороны ничем не отличаются. Отсюда выводим, что эта поверхность имеет совершенно одинаковое отношение к самому кристаллу и к тому, что вне кристалла. Ограничивая кристалл, она просто только отделяет его от всего остального*, тогда как всякая другая поверхность представляет не только ограничение, но и *особенное* ограничение. Так, даже простейшая из неплоских поверхностей именно шарообразная, уже представляет особенное ограничение; *потому что мы всегда вправе предложить себе вопрос: почему она обращена внутрь тела вогнутою стороною, а снаружи выпуклою!*"

"Отделять *особенным* образом внешнее от внутреннего, очевидно, можно только на основании какого-нибудь особенного отношения между внешним и внутренним; например, если предмет имеет форму шара, то, во-первых, это указывает на *одинаковые* отношения со всех сторон.

¹ Для каждой форма правильного кристалла может показаться *искуснейшею* сравнительно с формою, напр., комка глины, а эта последняя, поэтому, более простой. Но в действительности, для размышляющего ума, всякая неправильная, случайная форма, как, напр., комка чего-нибудь, есть неизмеримо более сложная и трудная для понимания, нежели какая бы то ни было правильная форма; так что только этими последними, *по известному закону образованными и от него не отступающими* формами, геометрия и в силах заниматься.

Круглая форма капли действительно зависит от того, что частицы жидкости в ней следуют только собственному притяжению и не подчиняются ни с какой стороны внешнему влиянию. Во-вторых, то, что поверхность обращена внутрь вогнутою стороною, указывает на стремление всех частиц капли *снаружи внутрь*, на их взаимное притяжение по прямой линии, — чем и определяется и исчерпывается форма капли. Если та же поверхность будет иметь обратное положение, например, в шарообразной *вогнутой* чашечке цветка, то это будет указывать на другое отношение. В самом деле, здесь мы можем спросить: куда цветок обращен отверстием? Известно, что большею частью цветки обращены кверху или, — если обобщим разные положения цветков, — *кнаружи* от растения, на котором сидят. Такое положение необходимо должно иметь значение для самой жизни цветка (оплодотворение)".

"Таким образом, мы видим, что поверхность кристаллов показывает отсутствие всяких отношений к тому, что их окружает".

"В этом мы еще более убедимся дальнейшим рассмотрением. Если отношение между внешним миром и предметом имеет большое значение для предмета, то он необходимо представляет внутреннее разделение, именно: в нем можно различить *наружные* и *внутренние* части. Так, у всех организмов наружные части, как взаимодействующие с внешним миром, отличаются от внутренних. Так и простейший организм, клеточка, представляет внутреннее содержимое и оболочку, которая устанавливает известные отношения между ним и веществами, окружающими клеточку".

"Ничего подобного нет у кристалла. Кристаллы однородны во всей массе; в них нет ничего центрального или внутреннего, что бы отличалось от наружного. Отсюда объясняется второй закон кристаллических форм, т.е. параллелизм соответствующих плоскостей. Положим, с какой-нибудь стороны кристалл ограничен плоскостью, имеющею известное направление. Так как *вся масса кристалла одинакова*, то она в каждой точке способна принять это самое ограничение; в каждой точке может образоваться плоскость, идущая по тому же направлению. Следовательно, *на другой стороне* кристалла, где он должен кончиться и принять *какую-нибудь* поверхность, непременно явится плоскость, имеющая *то же самое* направление. Таким образом, *параллельность плоскостей кристалла объясняется совершенною однородностью его массы"*.

"Я сказал — *где он должен кончиться*; но, собственно говоря, кристалл не имеет никакой причины, почему бы он кончился здесь, а не в другом месте. И в самом деле, кристаллы оканчиваются всегда случайно, т.е. *где-нибудь*. От этого происходит, что величина кристалла и его

размеры по разным направлениям никогда не бывают определенные. Более или менее определенная величина свойственна животным и растениям; минералы же способны давать самые разнообразные кристаллы, от микроскопических до саженных".

"Точно также, расстояние между каждыми двумя параллельными плоскостями кристалла может быть какое угодно. От того-то кристаллы почти никогда не имеют совершенно правильной формы. Мы говорили, что соль кристаллизуется в кубах; представьте же себе, что расстояние между каждыми двумя противоположными сторонами этих кристаллов может быть какое угодно; тогда вместо кубов могут образоваться четырехгранные прямоугольные столбики или же плоские таблицы".

"Мы сказали, что масса кристалла в каждой точке способна принять то ограничение, которое она имеет снаружи. Это подтверждается удивительным явлением *листопрохождения*. Многие кристаллы очень легко делятся по плоскостям, параллельным их граням, — *листья* по этим направлениям. Обыкновенно об этом говорят как об *строении* кристаллов, именно утверждают, что кристаллы состоят из *слоев*. Но чем совершеннее кристалл и его листопрохождение, тем он ближе к тому, что может разделиться в *каждой* точке, какую бы мы ни взяли; такова, например, *слюда*. Следовательно, всякие *заметные* слои суть только несовершенство кристалла, происходят от неправильного, неравномерного его образования, от перерывов при кристаллизации. Слоев — бесчисленное число, точно так, как бесчисленное число *частич* в каждом теле. Это значит, что и слои, и частицы существуют только в возможности, а не в действительности".

"Таким образом, мы видим, что форма кристалла выражает собою его внутреннюю сущность"¹.

Вот то, что можно назвать истинным мастерством философского объяснения. Здесь строго конкретный, наблюдаемый факт становится не только ясен для нашего ума, но и внутренне необходим для нашего понятия путем связания его с самой идеей минерального вещества, как абсолютно инертного, ко всему безразличного, не имеющего никаких внешних отношений и никаких же внутренних, кроме химической своей структуры. Без сомнения, только нахождение этого объяснения в книге, философской по содержанию, а не специально посвященной минералогии, мешало до сих пор ему перейти, как общему введению к учению о кристаллических формах, во все курсы по кристаллографии. Каждый специалист, став на точку зрения, здесь установленную, мог бы произвести дальнейшие прекрасные исследования, напр., о том, почему

¹ "Мир как целое", стр. 149, 153. Р. В., 1892. VIII.

всякий данный минерал, определенной химической сложности, кристаллизуется в определенное же число форм? Нет ли связи между этими формами как производным от формы каждого вещества порознь, входящего в минерал? Есть ли возможность физического перехода всех форм друг в друга, раз они присущи одному и тому же минералу? и пр.

IV

Форма вообще есть *ограничение* каждой вещи, *отделение* ее от окружающего и, следовательно, *обособление* от него; поэтому именно из отношения вещи к окружающему мы должны стремиться уразуметь смысл ее формы.

В противоположность безразличию кристаллов ко всем направлениям, в растениях — и это без какого-либо исключения — всегда есть две совершенно неодинаковые стороны: *верхняя*, образованная одним способом, и *нижняя*, имеющая совсем другой вид. Это зависит от двоякого отношения их: к *атмосфере* и к *земле*. Во всех остальных направлениях окружающие растение условия одинаковы, и одинакова отовсюду его форма: в отличие от животных, оно не имеет передней стороны и задней, левой и правой. Но даже лишай, простейшие из растительных организмов, являющиеся в виде круглых зеленых пятен на камнях и коре деревьев, имеют различными эти стороны: верхнюю, обращенную к атмосфере и солнцу, и нижнюю, обращенную к питающей их основе.

Далее, *круглый вид* лишайного ли пятна или древесного *ствола* зависит от этой самой одинаковости в отношении растения ко всем боковым условиям: нет причины, почему бы в одну сторону оно нарастало более, нежели в другую, и, не нарастая никуда по преимуществу, его слои естественно располагаются около сердцевины, как ее окружности. Но, сверх круглоты своей, всякий ствол имеет еще и ту особенность, чем он *вытянут*, т.е. образует *цилиндр*. Ствол есть седалище ветвей и листьев, и только при этой вытянутой, цилиндрической его форме, последние могут *разместиться* на нем свободно и свободно же могут обвеваться воздухом и освещаться солнцем: а отношением к ним растения определена форма его верхней половины.

Та же причина, которая вытягивает ствол, вытягивает и разветвляет сидящие на нем сучья: только при этом расположении, не кучась в одном каком-нибудь месте, они могут наилучшим образом расставить по отношению к свету и атмосфере прикрепленные к ним листья, в потребности которых, как органов взаимодействия с воздухом и солнечными лучами, и лежит основание всего устройства дерева. Но и этого

еще недостаточно: каждый лист сидит на длинном и тонком стебельке, и через это удален как от сука древесного так и от других листьев: он купается в необходимом ему воздухе и свете, качаясь и дрожа при малейшем движении ветра.

Все тем же отношением определяется и форма самого листа: он плосок и тонок, он часто прихотливо разрезан по краям, наконец, он не может свернуться и закрыть одними своими частями другую от проходящих по нему упругих жилок, — т.е. имеет в себе все, и притом всюду и всяким образом выраженные, условия для наибольшего соприкосновения с воздухом и светом. К солнцу, к теплу, к эфирной обвевающей его стихии растение как бы вывернуто всем существом своим, в противоположность свернутому внутрь животному; оно все наружу, обнажено — в стебле, в листьях, в цветке своем, сосредоточивая на поверхности своей всю жизнь и смысл свой, облекшись, как покровом, своей особенной, дремлющей, взаимодействующей с солнцем, нервной тканью.

Собственно, с землею взаимодействия растения те же; но имея плоскую и широкую поверхность, как листья, корни не могли бы внедряться в нее и расходиться; поэтому ветвясь, как и наверху, растение внизу имеет тонкие и длинные нити цилиндрической формы, которыми легко пробирается в земле к питающим его веществам.

Таким образом, в растениях *общая* и *постоянная* форма также строго связана с их отношением к наружным условиям, как у минералов она связана с их безотносительностью к этим условиям. На этом общем, *разнообразя* его, но *не нарушая*, развивается все обилие родовых и видовых растительных форм.

Общее, чем отличаются животные от растений, есть *ощущение*, т.е. способность *различать* внешние впечатления, воспринимая одни из них как *приятные*, и другие — как *неприятные*. Уже из различия этого с необходимостью вытекает, что все животные, без какого-либо исключения, одарены *произволом* как внутренним стремлением избегать неприятных впечатлений и искать приятных: удаление и приближение есть только деятельное выражение двух качественных различений, о которых мы сказали, что они прежде всего входят в понятие животного организма.

Внешним образом это внутреннее стремление выражается в передвижении — или всего своего тела, как у большинства животных, или какой-нибудь его части, как, напр., у коралловых полипов и некоторых других. *Самопроизвольное движение* обычно и входит в первичное определение животных, хотя, в действительности, оно составляет уже третичное качество их (ощущение воля-движение). К этой потребности,

через которую внутренние, субъективные отличия животного уже выражаются извне, приспособлен их внешний вид: все тело свернуто в более или менее *овальную форму* и сужено в направлении, по которому происходит движение, вовсе не представляя этой суженности в той части, которая обращена назад. Отсюда получается различие между *переднею* стороною и *заднею* в устройстве, и к этому различию у высших животных прибавляется еще и другое: передвигаясь, животное ищет потребное ему, и все, при помощи чего оно ищет, расположено на передней именно части — зрение, слух, обоняние, все способности различения и ощущения. Далее, *верхняя* и *нижняя* часть их тела так же различны: первая, обращенная к источнику света, всегда бывает ярче окрашена, но затем она бывает только закрыта, защищена; напротив, нижняя, обращенная к земле, по которой происходит передвижение, имеет на себе органы передвижения. Разнообразие этих органов приспособлено к особенностям среды, в которой происходит движение: у наземных животных это ноги, у рыб — плавательные перья, им соответствующие, у птиц — крылья, соответствующие двум передним конечностям наземных животных, при сохранении у двух задних конечностей формы, необходимой для передвижения их и по земле.

Что касается до *боковых сторон*, т.е. правой и левой, то здесь все окружающие условия одинаковы для животного, и поэтому одинаковы эти стороны у них. Но, сверх этого, для удобства движения, для самой возможности его, эти стороны должны быть *симметричны*: иначе животное перевешивалось бы на один бок и при быстром движении падало бы. Мы и видим, действительно, что левая и правая стороны животного расположены в строгом соответствии друг другу около оси его движения. Исключение, и лишь незначительное, составляет очень медленно движущиеся животные, как, напр., улитка с раковиной, завернутой в одну сторону.

Число конечностей соответствует потребности наибольшей быстроты и легкости передвижения: три точки опоры необходимы для устойчивости всякого предмета, но если он удлиннен (как корпус животного) — их должно быть четыре, расположенных по две с боковой передней и задней стороны. Так именно и расположены ноги у всех наземных животных. Увеличение числа их до 6 (насекомые), 8 (пауки) и 10 (раки), встречающееся у животных небольших, не представляет какой-либо выгоды для движения, и животным массивным положительно мешало бы при ходьбе и беганье. Напротив, уменьшение органов движения, как мы встречаем у одного только человека, имеет в себе замечательные особенности и преимущества. В силу этого уменьшения его тело получило подвижность и свободу, *незанятость* всей своей глав-

ной части при каждом положении, — что открыло возможность самой разнообразной для него деятельности. В устройстве тела его удивительным образом соединено устойчивое и неустойчивое равновесие: собственно, как предмет, имеющий центр тяжести *выше* точки опоры, и этих опор только *две* — он не устойчив в равновесии; и лишь оттого, что в каждой из точек опор, через особое устройство ступни, заключены собственно три, расположенные близко друг к другу, опоры, он не падает даже и на одной ноге: этими тремя точками служат пятка и правый и левый передние углы ступни. От этого, стоя на обеих ногах, но опираясь лишь пятками их, человек неудержимо падает вперед или назад; стоя на полной ступне одной ноги, он удерживается в равновесии; на обеих ногах он уже совершенно тверд, хотя и способен упасть, к чему, напр., совершенно неспособна кошка, собака; но зато, при этой слабой устойчивости он может придать своим движениям легкость, красоту и разнообразие, каких не может придать ни одно животное (пляска, танцы).

Далее, переходя от внешнего строения тела животных к устройству их внутренних органов, мы видим, как и оно вытекло необходимо из главной их особенности: ощущения и связанного с ним передвижения. В силу небольшого объема их тела, как бы свернутого в видах передвижения, взаимодействие с воздухом через его поверхность (как у растений) было бы недостаточно. И вот, для удовлетворения ее образованы у них *легкие*, эти обращенные внутрь, книзу листвою дерева, висящие на общем стволе дыхательного горла. В них, как и в жабрах рыб, разрешена задача: на небольшом, возможно, пространстве разместить наибольшую, по возможности, поверхность соприкосновения с воздухом. Ритмические движения грудной клетки, которыми вбирается и выгоняется из легких воздух, для животного возможны уже, как для одаренного способностью самодвижения. Таким образом, избыток в определении сущности животного восполняет некоторый недостаток в определении у него одной функции; так как при устройстве легких, но без движения, возможно лишь соприкосновение с воздухом, всегда одним и тем же, но не *обвевание* им, как у растений, которое именно и необходимо для жизни организма.

Наконец, при передвижении не может быть у животного того же отношения к питающим веществам, какое есть у растения: оно не может быть непрерывным в силу необходимости иногда удаления от места, где эти вещества находятся; и между тем для поддержания жизни в организме, питание не может останавливаться. Соединение этих двух, взаимно исключаящих, условий мы и находим в устройстве *желудка*: в нем животное *носит* с собою пищу, однажды набранную в большем

количестве, чем нужно было в момент набирания, — и там, внутри его, и уже независимо от окружающих условий, происходит непрерывное ее усвоение организмом, как у растения оно непрерывно при помощи корней, внедренных в землю. Внешние органы питания, устройство рта и зубов — все это приспособлено к необходимости быстрого и обильного ее вбирания в короткий срок.

Для того чтобы обновление организма через принятую пищу совершалось на всем его протяжении и непрерывно, необходимо, чтобы во все его части непрерывно разносились ее частицы: отсюда вытекает устройство кровеносной системы, этой сети всюду проникающих каналов, по которым гонится кровь биениями сердца и разносит с собою кислород и питающие вещества, сосредоточенные — один в легких, другие — в пищевой системе.

V

Повсюду мы видим, таким образом, что организация живых существ строго отвечает условиям их внешнего существования; и, зная эти условия, мы почти построим своим умом их организацию, предвидим, какую она не может быть и какую должна стать. Наблюдаемое в природе так точно отвечает умственно требуемому, что не может быть сомнения в том, что соответствовало же некоторым умственным требованиям и тогда, когда возникало. Возрастание взаимодействий с внешним миром есть, по-видимому, основная задача, развиваемая в органическом мире, взаимодействия, т.е. некоторой *деятельности*, как противоположного неподвижному *бытию*. Вещество, косное и темное, ко всему безотносительное — вот один полюс мира, вот начало всякой космогонии, какую мы способны себе представить. На *этом* полюсе еще не может быть взаимного притяжения частей, потому что притягиваться — это уже значит чувствовать друг друга, быть не безразличным к окружающему; еще менее может быть здесь соединение веществ в определенных пропорциях для образования тел, потому что оно предполагает уже известные градации и различия во взаимном ощущении¹. Как всемирное тяготение, так и частичное сродство — уже моменты в процессе образования мира, но не момент, этому процессу

¹ Как само собою разумеется, здесь и речи не может быть об *ощущении*, о *чувстве*, в том смысле, как это явление существует для животного. Но несомненно, что в момент соприкосновения двух взаимно соединяющихся тел, каждое из них *испытывает* в себе нечто, чего оно вовсе не испытывает при близости к телу, к которому индифферентно. Только эту неиндифферентность, чисто внутреннюю, до самого соединения, и соединение производящую, мы и имеем здесь в виду.

предшествующий, не его исходная точка. В противоположность этому всебезразличному бытию, на другом полюсе мира нам предстоит представить себе чистую деятельность как отрицание косности и безразличия; и как там бытие не сопровождалось никакой деятельностью, так здесь, мы можем ожидать, деятельность не сопровождается никаким бытием, как своей основой. Некоторое подобие такой деятельности мы наблюдаем в уме человека, материальная основа у которого, конечно, есть, но она уже слабо уловима в своей связи с ним; напротив, его деятельность, при этой незначительной основе, почти безгранична по своей разнообразности, объему, напряжению, — в особенности, если мы сравним ее с "деятельностью" массивных тел природы, которые только взаимно притягиваются.

Между этими полюсами движется мировой процесс, в котором деятельность мало-помалу превозмогает косность. Каждый вид существ представляет собою какую-нибудь степень этого превозмогания — меньшую, если он стоит ближе к его началу, большую — если он ближе к его завершению. Как синтез противоположных, взаимооборющихся начал, каждый вид существ непостоянен в своем бытии; но, разрушаясь, он переходит неизменно в высший вид, потому что именно превозмогание деятельности над бытием составляет сущность мирового процесса. Только в разрушении индивидуальных существ, в смерти, наблюдаем обратное падение к косности, возвращение вещества, связанного деятельностью, к свободному и более элементарному прежнему состоянию.

VI

Деятельность и взаимное отношение с окружающим мирозданием в человеке доведены уже до возможного своего предела, не переступаемого для животной организации. Интересно, как это подтверждается, между прочим, устройством его органов чувств. Эти органы суть орудия общения человека с миром, и если бы оно могло еще расшириться, это могло бы произойти не иначе, как через расширение именно этих органов, т.е. через прибавление к тем пяти, какими обладает человек, еще шестого или седьмого. В разное время многие мыслители и действительно предполагали возможность такого расширения способности ощущения, — если не для человека, то для некоторых подобий его, населяющих другие миры. Предположения о жителях планет, организованных то выше, то ниже человека, и в первом случае одаренных более обильными органами чувств, а в силу этого и понимающих мир совершеннее, чем мы его понимаем, — вытекают именно из таких со-

ображений. Имена Кеплера, Гюйгенса, Вольтера, Лапласа, Огюста Конта — вписаны в историю подобных попыток перенестись воображением на другие миры, посмотреть хоть в мечте своей на то, что там есть, и сообразно всегдашней натуре человека, представить нечто неизмеримо лучшее, чем что мы знаем или чем владеем на нашей земле, которую мы так мало — гораздо менее, чем должны бы — любим.

Возможность разрешить этот вопрос, без какого-либо действительного общения с другими мирами, для всякого показалась бы мало правдоподобной. И между тем рядом остроумных соображений г. Страхов показывает, как в пяти чувствах, которыми одарен человек, уже положен предел вообще всякого общения с миром.

Чувства как орудия общения субъекта с объектом (человека или кого другого с внешней природой) могут быть трех родов: или только *субъективные*, или *субъективно-объективные*, или только *объективные*. Ясно, что кроме этих трех видов отношения между субъектом и объектом, никакого четвертого еще не может быть; и все они уже осуществлены в чувствах человека.

И в самом деле, *вкус* и *обоняние* суть чувства совершенно субъективные, так как в них выражаются лишь *наши собственные внутренние состояния*, а не какие-либо действительные качества внешних вещей. Горькое или ароматное — не горько и не ароматно, пока вне нас; там — это просто вещества, тяжелые или легкие, несоединимые или соединимые, но в этом соединении не горькие и не ароматные друг для друга. Сверх этих двух чувств, у человека есть еще множество внутренних ощущений, напр. возбужденности, усталости, какой-нибудь боли; но в отношении к внешнему миру, для связи с ним, есть только эти два. Интересно, что они соответствуют двум *состояниям* тел, в каком последние единственно могут действовать друг на друга, как известные вещества, составы, и в каком, конечно, могут единственно действовать на человека: орган вкуса соответствует *жидкому* состоянию тел; орган обоняния соответствует *газообразному* состоянию тел. Есть еще третье, *твердое*, которое или переходит в жидкое под влиянием слюны для одних тел, и тогда они действуют на вкус, или не переходит в это состояние для других тел, и тогда они вовсе не действуют на человека и не могут действовать. И в самом деле, только в растворе или как газы тела действуют друг на друга составом, *corpora non agunt nisi soluta* — это аксиома в химии. Два субъективных чувства человека и имеют отношение к субъективному же, исключительно внутреннему содержанию тел — или положительное, указывая их пользу для него, или отрицательное, предупреждая о их вреде. Нет третьего состояния, в котором тела также действовали бы своим составом и, следовательно, не может

быть третьего органа чувств, аналогичного обонянию и вкусу.

Посмотрим, однако, не может ли быть дальнейшего развития человеческих ощущений по которой-нибудь из двух остальных категорий. *Субъективно-объективное* чувство у человека одно: это — *осязание*. Оно в равной мере есть чисто субъективное ощущение, есть *состояние нашего тела*; но и вместе — объективное ощущение *внешнего предмета*, который к нашему телу прикасается. Через него для нас определяется *граница* своего тела, т.е. то, что равно обращено к субъекту и к объекту. И как не может быть двух подобных границ, так не может быть никакого второго субъективно-объективного органа чувств.

Наконец, *объективных* чувств у человека два: *зрение* и *слух*. Видимое и слышимое является нам так, как оно существует вне нас, без всякого ощущения их вхождения и без всякого же отнесения нами их внутрь себя. Треугольник, который я вижу, остается для меня *там, где* я его вижу, и его форма или размеры вовсе не состояния только моего глаза, вызываемые неизвестными в своей сущности внешними возбуждениями. То же можно сказать о звуке или всякой последовательности их: происходя вне нас, они без всякой перемены в себе на пути к воспринимающему их органу и без всякого же изменения нас самих в момент восприятия, являются просто как бы происходящими внутри нас.

Всматриваясь во взаимное отношение этих двух чувств, крайне несходных, мы без труда заметим, что в одном из них воспринимаются нами *пространственные* отношения, в другом — *временные*; пространство же и время суть как бы две координаты, по которым устроен и существует мир *протяженный* и вместе — *текущий*. И как нет еще никакой, им соответствующей и равнозначущей координаты, так и для восприятия этого мира, для его усвоения нет и не может быть еще никакого третьего чувства, аналогичного зрению и слуху.

VII

Мы отметили, что для непосредственного усвоения внутреннего содержания вещей служит нам внутреннее же, чисто субъективное чувство; для усвоения его внешности, как мы видим, служат, напротив, чувства чисто объективные. По аналогии мы должны допустить, что внутреннейшее, что происходит в нас, отвечает внутреннейшему же, что лежит в мире. Но здесь мы переходим к соображениям, которые по самой своей сущности не могут иметь никакого подтверждения в опыте; они переступают также за грань и, вообще, *рационального* понимания вещей — в область совершенно иного их постижения. Мы не будем их продолжать, но ограничимся приведением глубоких и прекрасных

слов, которые высказаны нашим автором о вечных и инстинктивных усилиях человека переступить эти грани.

"Если мы чувствуем недовольство рациональным созерцанием, если оно в нас что-то затрагивает и чему-то противоречит, то нет никакого сомнения, что источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь других требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то *враждует против рационализма*, и эта вражда упорно ведется всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами"¹.

"Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли".

"Так как мы назвали мир *целым*, то, применяясь к этому выражению, можем сказать, что человек постоянно ищет *выхода* из этого целого, стремится разорвать связи, соединяющие его с этим миром, порвать свою пуповину".

"Едва ли когда это было так ясно, как в наше печальное время, — время, очень интересное, но страшно тяжелое. Люди мечтают, ища выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть довольными этою жизнью, как она есть. Самые ограниченные — спиритисты уже переделали мир по-своему и наслаждаются беседою с *жителями планет*. Другие, политические фанатики, мечтают о том, чтобы переделать человека, изменить *ход всеобщей истории*. Чтобы найти себе какой-нибудь выход, они разжигают в себе чувство недовольства современным порядком мира, жизнью, нравами и свойствами людей, и тогда начинают верить в какое-то *новое* человечество, которое будет свободно от самых коренных свойств человеческой природы и которое, в сущности, такая же мечта *в будущем*, как жители планет, беседующие со спиритистами, — *в настоящем*. Так стремятся люди насытить желания своего сердца; одни вздыхают о прошедшем и погружаются в него, облекая его фантастическими красками; другие мечтают о будущем; третьи населяют планеты и звезды. Никто только не думает, что задача должна быть решена *теперь* и *здесь*, и что всякое перенесение решения в другое время и в другое место есть только обман, которым мы сами себя тешим. Если же кто это и чувствует, то не умеет ни формулировать вопроса, ни приняться за его решение; современное просвещение не дает для этого средств. Так что в настоящее время едва ли не самый мудрый тот, кто, питая некоторое доверие к неисследимому, отказывается от попыток схватить умом роковую задачу и находить удовлетворение в ее

¹ В другом месте он замечает, что материалист, которому сказали бы, что его *атомы* совершенно *понятны*, тотчас и горячо и восстал бы против этого.

практическом решении, т.е. в возможном исполнении *долга*"¹.

У г. Страхова есть манера, одновременно и привлекающая к нему читателя и раздражающая его, — не договаривать своих мыслей до конца. Так и здесь, указав на факт, глубину и верность которого мы все живо чувствуем, он оставляет судить о нем читателю, полагаясь лишь на свои силы. Здесь сказывается не одно опасение впасть в ошибку, сказать что-либо определенное о предмете, столь трудно определимом. Сверх этого, тут есть нежелание обнаружить самые заветные, быть может, из своих убеждений перед толпой, каковою, в конце концов, не могут не представляться каждому автору его читатели. Для каждого пишущего есть основание предполагать, что если среди этих читателей не один станет для него близким другом, то гораздо больше найдется таких, которые не поймут и профанируют именно самые дорогие его убеждения. Здесь сказывается темная сторона вообще печати: через нее обхождение людей между собою чрезвычайно расширилось, но оно не стало лучше, и в особенности ближе. И это потому особенно дурно, что именно в этой близости высказываются если не самые "великолепные", то самые дорогие наши черты. Есть великий недостаток во всяком виде общности, где люди являются более "прибранными", нежели как бывают обыкновенно, но и вместе — неизмеримо более чуждыми друг другу, чем как могли бы стать, чем есть на самом деле. Мы здесь входим опять в сферу "иррационального": быть непременно только разумным, быть всегда правильным, размеренно добродетельным — вовсе не есть для человека наилучшее. Правда, известно изречение, что "гений для лакея своего, *который все знает* — уже не есть гений"; но это потому, без сомнения, что лакей есть только лакей. Для близкого друга своего, для круга родной семьи гений, конечно, есть иногда смешной чудаки; иногда он даже — порочный чудаки; но, пробуждая любовь или жалость в близких людях, он все-таки для них лучше, чем только гений — в его спокойствии, в его величии, в его удалении от людей. Здесь мы невольно припоминаем гениальный вымысел Достоевского "Золотой век в кармане", к которому и отсылаем читателя для пояснения своей мысли.

У г. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читателям и, желая влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше образовать их ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что они могли бы узнать от него. То, что вызывалось в давние годы необходимостью, потом стало уже привычкой. Но для читателя сочинений его, для понимающего их смысл и значительность, всегда останется пе-

¹ Предисловие, стр. VIII-X.

чальным, что между ним и множеством людей никогда не будем совершенно отброшена разделяющая завеса, что некоторая пленка благоразумия всегда будет удерживать и его, и других на почтительном расстоянии от того, к кому они и могли бы, и хотели быть гораздо ближе.

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта
<http://varvarin.ru>